

Летопись времени: Анатолий Черняев и его дневник*

С дистанции в двадцать с лишним лет отчетливее видно не только в чем преуспела перестройка и чего добиться она не сумела, но и что из произошедшего в те годы было действительно неизбежно

Виктор Шейнис.....

Последним десятилетиям существования Советского Союза и завершившей их перестройке посвящена обширная литература — мемуарная, биографическая, аналитическая. Приоткрылись — прежде чем их опять стали прятать — архивы. Казалось бы, стране и миру явлены скрытые прежде завесой строжайшей секретности «кремлевские тайны». Пусть не все — всего, как вырвалось однажды у Михаила Горбачёва, мы никогда не узнаем, — но многие. И все же публикация дневников, которые Анатолий Черняев вел два десятка лет, — событие незаурядное. День за днем встречаясь с людьми, вознесенными на вершину власти и в меру своего опыта и понимания принимавшими решения, от которых зависели судьбы грозного государства да и каждого из нас, автор «много слышал, много читал из недоступного посторонним, кое в чем участвовал. И заносил на бумагу... и такое, чего нигде в другом месте не найдешь» (с. 3).

Но книга Черняева примечательна не только крупицами не всплывавшей прежде

информации, иногда занятой, подчас сенсационной и всегда раздвигающей границы наших представлений о прошлом. Автор рекомендует себя как «нормального московского интеллигента». Это не совсем так: он умнее, наблюдательнее, много образованнее, более склонен к саморефлексии, чем среднестатистический советский интеллигент. Но он также и жертва раздвоенности, которой страдала значительная часть мыслящих людей, пошедших на службу к государству. «Образ жизни этого человека, воспитание которого с детства, как и его индивидуальная культура (и, я бы добавил, представления о должном и сущем, а также круг дружеских связей. — **В. Ш.**), совсем не соответствовали тому, что ему приходилось делать по службе...» (с. 3). Совсем? Нет, все же не так: в меру, пусть и ограниченных, возможностей, проистекавших из его служебного положения, он пытался, преодолевая чувство безысходности, защитить преследуемых друзей и знакомых и чуть-чуть сдвинуть, хотя бы на словесном уровне, стрелку идеологического компаса, когда она не была закреплена намертво. Стоила ли игра свеч? Каждый, вероятно, вправе судить об этом, исходя из собственного опыта и предпочтений. Мне же кажется, что, как бы ни оценивать результат усилий «прогрессистов» в ЦК партии, дневник, переданный для публикации, пред-

* А. ЧЕРНЯЕВ. СОВМЕСТНЫЙ ИСХОД: ДНЕВНИК ДВУХ ЭПОХ: 1972—1991 ГОДЫ. М.: РОССПЭН, 2008, 1047 С. КНИГА ОТМЕЧЕНА ПРЕМИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЕ КНИГИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА ГОДА—2008», УЧРЕЖДЕННОГО РУССКИМ БИОГРАФИЧЕСКИМ ИНСТИТУТОМ, РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКОЙ И «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТОЙ». В 1972—1986 ГОДАХ АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЧЕРНЯЕВ БЫЛ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ЗАВЕДУЮЩЕГО МЕЖДУНАРОДНЫМ ОТДЕЛОМ ЦК КПСС, В 1986—1991-м — ПОМОЩНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС, В 1991-м — ПОМОЩНИКОМ ПРЕЗИДЕНТА СССР.

ставляет собой не только рассказ о том, как и кем делалась политика, но и культурный памятник своего времени. Перефразируя Пушкина, я бы сказал: счастлив тот, кто с умом, талантом и вкусом к политике пришел в мир в иное, не столь растленное время. Но времена, как известно, не выбирают...

Деградация коммунистического режима. Взгляд изнутри

Значительная, хотя и постепенно убывающая часть наших сограждан пребывает в убеждении, что было бы лучше, если бы все в стране оставалось таким, как до начала перестройки. Работает на такие представления не только известный феномен идеализации прошлого, но и расхожее объяснение, будто бы крушение СССР и коммунистического режима было предопределено не объективными, а субъективными обстоятельствами: ошибками или преступлениями вождей либо злокозненностью врагов. Чего читатель не найдет в дневниковых записях Черняева, так это иллюзий относительно приходившего все в больший упадок режима, его перспектив, равно как и интеллектуального уровня и нравственных качеств его лидеров. Сквозь сдержанное повествование подчас прорывается сарказм. Но автор столь же критичен и по отношению к себе, ближайшим сотрудникам и друзьям.

Про советскую систему говорили, что она хотя и однопартийная, но многоподъездная: комплекс зданий ЦК имел разные подъезды, и атмосфера, дух в размещавшихся там отделах были неодинаковы. Международные отделы имели дело с неподвластной советскому руководству реальностью, поэтому здесь допускалось известное разномыслие и дозволялось адресовать «наверх» информацию о реальном положении дел, хотя и упакованную в жесткие обертки обветшавших идеологических стереотипов. В идеологических же отделах правила бал погромная

«трапезниковщина» — по фамилии убогого партийного чиновника, подобранного Брежневым в провинции и поставленного заведовать наукой. «Встретил этого Трапезникова на дороге в Успенке, — отводит душу автор в своем дневнике, — захотелось выйти из машины, сковырнуть этого гнома в канаву» (с. 91). За Трапезниковым и секретарем ЦК по идеологии Демичевым, которые ходят в Вольтерах, с горечью констатирует Черняев, миллионы их единомышленников в КПСС, а корни их возвышения и влияния — в сталинизме. Малограмотные идеологи, агрессивно отбрасывающие все, что находилось за пределами их куриного кругозора, — явление типическое и исключительно опасное: мировая война, убежден автор, может разразиться, лишь если возобладают идеологические мифы и на авансцену выйдут вселенские «Трапезниковы» (с. 98, 141). Чуть лучше «понимает положение» Шауро, более двадцати лет, до самой перестройки, заправлявший отделом культуры, но у него «ни мысли, ни собственного убеждения, ни тем более политики ни на грош» (с. 35).

Аппарат ЦК воздвигал мощные заслоны на пути даже той информации, которая доводилась до членов политбюро. Лишь некоторые работники и консультанты международного отдела, на которых лежала подготовка докладов для высших руководителей, периодически допускались к общению с ними. Но они убеждались: не в коня корм. «Нужны лишь красивые слова, а не новые идеи, которых “никто не позволит”»: в высочайших выступлениях для них места нет; «истина, включая марксистскую, имеет значение только для “пропаганды успехов” или “разоблачения империализма”, но отнюдь не для реальной политики» (с. 296, 527). Доминировала же «атмосфера какой-то большой коллективной безнравственности. Так называемые “интересы дела” не имеют к этой жизни никакого отношения» (с. 43).

Существовала, однако, сфера, где провалы были слишком очевидны, а результаты убийственны. Это экономика. Иллюзий не оставалось ни у кого. Меж собой говорили в открытую: «От раза к разу речи все красивее, а дела все хуже и хуже» (с. 31). Реалистические оценки положения дел звучали иногда на совещаниях и пленумах ЦК, подчас даже прорывались в печать. К примеру, на Секретариате ЦК обсуждается вопрос о хищениях на транспорте. За сухими цифрами — фантазмагория повального воровства

лионов советских людей, а “массовые” достижения затрагивают лишь очень небольшой слой» (с. 296). Понимают или не понимают, но изменить экономическую систему в идеократическом государстве невозможно, не посягая на идеологическую и политическую монополию партийной верхушки. Система отторгала и косыгинскую реформу, и экономические эксперименты, запущенные в первые годы перестройки.

Черняев еще в молодости перечитал мировую классику в редких тогда дорево-

“Изменить экономическую систему в идеократическом государстве невозможно, не посягая на идеологическую и политическую монополию партийной верхушки”.

и безнаказанности. «Я буквально содрогался от стыда и ужаса», — записывает Черняев. «Обсуждение (ворчание Кириленко, морали Пономарёва в духе большевизма 20-х годов — “как, мол, возможно! Это же безобразие! Где парторганизации, профсоюзы куда смотрят...”) поразило всех полной беспомощностью» (с. 390). Все сводилось к констатации непорядков в экономике абсурда и к предписаниям: поднять, улучшить, усовершенствовать, мобилизовать. Озабочены же были главным образом тем, как наладить пропаганду наших достижений. Девятая пятилетка (1971—1975) провалена? И вот «лучшие умы, искуснейшие и опытнейшие писарчуки брошены» на то, чтобы превратить «провалы и отставания в новые исторические успехи» (с. 166). Понимали ли руководители партии и государства, что «просто так, мановением какого-нибудь приказа или решением ЦК» развал остановить нельзя? «Ибо для этого нужно сразу разоблачить кричащее несоответствие между тем, что делается и как делается, например, как строится БАМ, с тем, что показывают по TV, признать, что “отдельные недостатки” касаются жизни десятков мил-

люционных изданиях, в горьковской серии «Всемирная литература». Не приходится удивляться, что человек с таким интеллектуальным бэкграундом избежал обаяния Сталина: «Никогда не считал его великим, потому что он не был в моих глазах “благородным”, “аристократом”, интеллигентом, то есть человеком культуры» (с. 803). Уже одно это возвышало его над толпой аппаратчиков и малограмотными «вождями», большинство которых не то что труды Маркса, но и Ленина в руках не держали («Кто поверит, что Лёня читал Маркса?» — укорачивал Брежнев своих спичрайтеров, вписавших в его речь цитату из трудов основоположника) (с. 164). Черняев хорошо знал цену «пугливому... творчески беспомощному, да к тому же еще невежественному» официальному марксизму, назначение которого — «клеить иноземных и вылавливать отечественных ревизионистов, а не проникать в суть вещей» (с. 45). Архаичная риторика, которую выдают за современную общественную науку, записывает он, не что иное, как болтливая схоластика, обслуживающая идеологию, а сама идеология оторвана от реальных жиз-

ненных проблем. Так, реалистический курс на «мирное сосуществование» несовместим с заострением «идеологической борьбы против империализма» и поддержкой международного терроризма. Идеологические службы партии занимаются оболваниванием народа и выполняют охранительные функции по защите режима (как это в своей сфере делает тайная полиция). Непрерывно повторявшееся заклинание об обострении идеологической борьбы, по сути, возрождало сталинский тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму.

идеологической чистоты», настаивая на принадлежности интеллигенции к «современному рабочему классу», который, по догме, считался главной прогрессивной силой общества) — участием в «войне мышей и лягушек». Полагаю, что снобистское третирование такого рода деятельности неисторично. Автор знает, что официальная доктрина «бессмысленна и античеловечна». Но он знает и то, что «полное безразличие массы», презрение студентов, их отторжение от «теории, которая призвана объяснить все наперед», возвращают цинизм и пролагают путь к вла-

“Нам и сегодня приходится иметь дело с растлевающим влиянием чуть трансформировавшейся «трапезниковщины», заполонившей экраны ТВ и внедряемой в учебники”.

«Идеологическая борьба», для которой характерны проработки, разоблачения, клеймения, отлучения и т. п., — констатирует автор, — преображает и нравственную природу людей, которые этим занимаются. Они уже и сами перестают замечать, что действуют непорядочно, постыдно», творят «интеллектуальные подлости» (с. 105, 168, 581). Идеологические мифы превратились «в тормоз и опасность для нашего общества, в источник его морального разложения» (с. 59). «Разложение же дикое, хуже, чем при царе, потому что нет скрепа аристократизма, понятия “чести” (дворянской, офицерской), которые все-таки хотя бы частично держали властей предержавших в рамках» (с. 405).

С высоты сегодняшнего плюрализма сопротивление этому смрадному поветрию при соблюдении некоторых «правил игры», продиктованных положением автора в официальных структурах, может показаться делом сомнительным. А отстаивание элементов здравого подхода в квазинаучных дискуссиях (например, Черняев противостоял хамскому антиинтеллектуализму «блустителей

сти еще большим циникам и карьеристам. А потому его вывод: «Трапезниковщине пора объявить войну — этого требует новая ситуация в мире. Колоссальная трудность такой войны в том, что речь идет не просто о профессорах и части аппарата, а об уже целом социальном слое, охватывающем несколько поколений» (с. 59). К слову: нам и сегодня приходится иметь дело с растлевающим влиянием чуть трансформировавшейся «трапезниковщины», заполонившей экраны ТВ и внедряемой в школьные учебники.

Но дело не только в том, что свежая, противостоявшая ортодоксии мысль, пробиравшаяся из цитадели ЦК партии, помогала, скажем, вузовским преподавателям, ученым, пропагандистам, мыслившим в унисон с прогрессистами в ЦК, обходить господствовавшую догматику, распространять в нашем обществе, в студенческой среде реальное знание и сопротивляться мракобесам у себя: сужу по собственному опыту. «Когда политика вырабатывалась и объявлялась главным образом через подготовку речей главных начальников, не способных ни мыслить, ни

(как правило) грамотно писать... Эти “аппаратчики” вместе с некоторыми интеллигентами “со стороны”, сочиняя речи не для себя, пытались вносить элементы здравого смысла в политику» (с. 664). А когда обстоятельства изменились — обеспечивали интеллектуальную поддержку горбачёвской перестройке, став своего рода «группой влияния», масштабы которого, однако, не следует ни переоценивать, ни недооценивать.

По роду своих обязанностей Черняев занимался в ЦК внешней политикой, международным коммунистическим движением (МКД). Не то чтобы ему удавалось формировать у своих работодателей адекватное понимание реалий мирового развития, необратимых процессов распада МКД и тем более корректировать официальный курс советского руководства — во всяком случае, до прихода Горбачёва. Он не раз сокрушается в дневнике, как отторгаются его инициативы, курочатся написанные им тексты, как часто он оказывается не в силах вложить в сознание своих начальников, предельно ригидное или даже помутненное, вещи, казалось бы, элементарные. Подчас он задумывается: не пора ли сменить место работы? Но все же его деятельность не хотелось бы уподобить сизифову труду.

Во-первых, потому, что на каком-то переломе в какой-то части его представления о том, что следует делать, могли совпасть с очередным поворотом внешнеполитического курса государства, отразившим подвижку в политбюро и некоторое просветление в мотивациях первого лица. На мой взгляд, записывая свои впечатления по свежим следам событий, он переоценивал значение советско-американских соглашений о предотвращении ядерной войны, достигнутых в мае 1972 года. Пройден, утверждает он, «Рубикон всемирной истории». «В разумной истории человечества это, пожалуй, значит больше, чем акт о капитуляции Германии 1945 г. в

тогдашней безумной истории» — именно «с этих майских недель 1972 г. будут датировать эру конвергенции» (с. 20, 54, 58–59). Преувеличение значимости происшедшего, равно как и заслуг Брежнева в деле мира, кажется очевидным (впрочем, это увлечение автора продлится недолго), но едва ли правильно совсем сбрасывать со счета настойчивую просветительскую работу неортодоксально мыслящих советников высшего руководства и их роль в словесном оформлении (отличном от примитивной пропаганды) позитивных сдвигов.

Во-вторых, впечатляет зафиксированная автором убийственная картина повседневной международной деятельности ЦК КПСС. Перед глазами читателя разворачиваются как бы на совмещенной кинематографической ленте два насыщенных событиями сценария: реальные, неподвластные московским вождям процессы в зарубежном мире и упрямое стремление действовать так, как будто этих процессов не существует или, во всяком случае, они обратимы. В странах социалистического лагеря нарастают антисоветизм и национализм, «вся творческая интеллигенция (кино, теле, писатели, театр) открыто игнорирует власть», а наша общая линия «в отношении друзей — смесь шовинизма с бескультурьем и завистью». В информации, которая поступает в Москву от ее послов, неизменен «рефрен — в открытую, прямо, не пытаясь даже прикрыться принципами общности — “свободы, видишь ли, захотели! Самостоятельными хотят быть!”» (с. 66, 562). Все хуже после обманчивой разрядки первой половины 1970-х годов складываются отношения с Западом. «Наше упорство и “жесткость” по ракетным делам начинают оборачиваться против нас. “Мирное” наступление Рейгана дает результаты: все больше мы выглядим теперь как саботажники переговоров, диалога, разрядки и т. п.». А генералы сетуют, «что не все еще в республиках,

в обкомах, в гражданских подразделениях общества делают все необходимое по превращению страны в военный лагерь» (с. 563).

Наконец, МКД. На страницах дневника сказывается сказка длинная и занимательная, как повествование Шахерезады. С одной стороны, становится все более очевидным, что комдвижения как политически значимой международной силы уже нет и не будет (с. 175, 602). Во многих странах компартии — «мелкота, которую дома почти никто не замечает». Вся их деятельность производит впечатление «чего-то по-диккенсовски жалкого и безнадежного». Комдвижение себя изжило. Даже там, где у коммунистов сохранился интеллектуальный и политический потенциал (ФРГ, к примеру), служит он безнадежному делу (с. 43, 113, 119, 628, 653 и др.). Влиятельные компартии существуют во Франции и Италии, но ведут они себя по отношению к КПСС все более независимо, подчас вызывающе. Для них, как и для других партий, имеющих реальные позиции в своих странах, «немосковская» ориентация — «главный фактор выживания и движения вперед». После введения военного положения в Польше руководство ИКП «отлучило нас от социализма» (с. 69–70, 152, 332, 407, 467).

С другой стороны, периодически проводятся парадные международные коммунистические совещания, изображаемые советской пропагандой как крупные мировые события, в ЦК КПСС существует многолюдный международный отдел, сотрудники которого пишут тексты «в поддержку нашей политики», а эти тексты затем инфильтрируются в выступления тех зарубежных коммунистов, «кто за нас целиком» (с. 127). МКД в программных документах КПСС вместе с «борцами за мир» изображают не как дорогостоящих нахлебников, а как могучие движения современности. В этом театре абсурда интерес взаимный: одни существуют на советские вспомоществования, а другие стре-

мятся расколоть еврокоммунистов, вмешиваясь в их внутренние дела в «грубых, просто гауляйтерских формах» (с. 532, 615), и получить дополнительные голоса на международных форумах. Черняев как мало кто другой по личному опыту знает, «как и почему мы помогли загонять МКД в тупик на протяжении 20 с лишним лет» (с. 673). К этому можно лишь добавить, что дрейф международного коммунистического движения в тупик, равно как и решающая роль в том ВКП(б)—КПСС, исчисляются куда большим сроком. Под противостоянием коммунистов и социал-демократов, занявшим почти весь XX век, черту подвела история.

Перед читателем — и это, может быть, интереснейшие страницы дневника — предстают типы советских лидеров. Портреты нарисованы «с натуры», на основе повседневно общения с одними и пристального наблюдения за другими. Автор стремится быть объективным. Но пожалуй, в вождях, как ни в чем другом, проявилась столь отчетливо деградация режима и измельчание рекрутируемого в высшую страту человеческого материала.

Среди иерархов, появляющихся на страницах дневника, едва ли не самым человеческим выглядит Брежнев. В 1970-х годах это жено- и жизнелюб уже миновал свою лучшую пору. Вначале он еще способен говорить не по бумажке, общается с окружающими по-своему, но все более обретает державную осанку. В своем тщеславии, любви к наградам, подаркам и почестям он смешон: все больше начинает походить на чучело орла, все меньше способен понимать смысл написанных для него речей, с удовлетворением воспринимает нарастающий вал восхвалений и сам принимает участие в этом «всесоюзном и даже интернациональном бесстыдстве».

«Основная жизненная идея Брежнева — идея мира. С этим он хочет остаться в памяти человечества. В практической политике реальным делам в этой области он отдает

предпочтение перед любой идеологией». Не он инициировал вторжение в Афганистан — «каша эта варилась где-то “втихаря”», «сыграли на маразматическом возмущении Брежнева Амином». За год до смерти «у него уже мало до чего доходили руки (и мозги). Он почти лишился способности артикулировать свои мысли. Однако такие вещи, как отказ от интервенции в Польшу, — это его безусловная личная заслуга» (с. 75, 78, 133, 193, 286, 386, 391, 464—466).

Верховная власть закреплена за одним человеком, все более впадающим в маразм.

позабыты, невольно вспоминаются уничижительные характеристики, которыми прощительные современники (Витте и другие) награждали дворцовую камарилью — ближайшее окружение Николая II. Круг замкнулся. С горечью отмечает Черняев «самовоспроизводство посредственности, раз она уже захватила власть!» (с. 111).

Особняком стоит непосредственный его начальник, секретарь ЦК и кандидат в члены политбюро, доктор наук, академик Борис Пономарев. «Он был, по своим личным качествам и интеллектуальному багажу, далеко не

“В вождях, как ни в чем другом, проявилась столь отчетливо деградация режима и измельчание рекрутируемого в высшую страту человеческого материала”.

Даже в политбюро «политику делают не открыто». Пленум ЦК «не удостоивают даже откровенного информирования, не говоря уж о каких-то там решениях, направлении и проч.» (с. 127, 412, 423—424). Так делается политика. Реализму Брежнева противостоят, «и все более нагло, напор со стороны его окружения — идеологов и охранителей, олицетворяемых Сусловым и Андроповым» (с. 81). В апреле 1973 года, после большого перерыва, членами политбюро стали «главные министры»: военный, госбезопасности и иностранных дел (Гречко, а после его смерти — Устинов, Андропов, Громыко). «Тройка» поименованных лиц, в руки которой переходили рычаги «реальной политики», все более нагло прибирала к рукам властные функции. Этим деятелям, столь почитаемым нынешними властями, страна была обязана срывом разрядки, новым витком гонки вооружений, афганской авантюрой (с. 307, 406, 587, 634).

Когда на страницах дневника появляются упоминания об иных деятелях высшего синклита (члены, кандидаты политбюро, секретари ЦК), имена которых ныне прочно

самым скверным в верхнем эшелоне советского правящего слоя». Может быть, потому что он — реликтовое образование. Он привержен большевистской догматике 20—30-х годов. С нетерпением ждет он вселенского кризиса капитализма, наподобие или даже хуже 1929—1933 годов, и жадно всматривается в признаки его приближения, утверждая, что на Западе рабочий класс голодает, а советские ученые, оспаривающие это, занимаются апологетикой. Тщится выступить с собственным «учением» о современном кризисе; что-то услышав о кейнсианстве, он убежден, что это очередная апология капитализма. Он в некотором роде «загадка сталинской эпохи». Сталина он ненавидит, но его квазитеоретические построения в конечном счете восходят к сталинским теориям. Его терпят, но утесняют: Брежнев не скрывает своего презрительного отношения, Суслов решительно пресекает его претензии на лидерство в том, что именуют марксистской теорией (его не привлекают к работе над новой программой КПСС, отстраняют от официального издания по истории партии).

Он страдает от того, что его не продвигают в члены политбюро, обходят положенными наградами. В партийном ареопаге он человек редкостный: «соединяет наше “чистое” прошлое с циничным настоящим». Среди циников и карьеристов он выглядит человеком идейным, среди неучей — образованным. Но среда диктует нормы поведения. На МКД он смотрит как секретарь обкома на свою область и опасается лишь, что с него спросят за приписки. Он ловчит, приспосабливается, лебезит перед кем надо, а на отведенной ему делянке реализует официальный курс: пытается расколоть еврокоммунистов, поощряя ортодоксов и провокаторов и всерьез надеясь «обратно слепить... распользшийся кафтан комдвижения» (с. 93, 107, 135, 182, 183, 476, 530, 603, 663). Пономарев — фигура трагикомическая, типическая в своей исключительности. Его поколение партийцев-интернационалистов было почти полностью истреблено в годы террора. А он выжил, занял высокий пост, но остался человеком своего времени, неловко и смешно приспосабливающимся в чужой среде, сотворенной, однако, его и его соратников руками. Мастер психологического анализа мог бы сделать его прототипом героя романа «Путь большевика» — о судьбах поколения, в молодости бросившегося в революцию, а к 1980 годам явившего образ мысли, который Черняев именует «пропагандистско-полицейским». Поразительный, однако, симбиоз...

С каждым годом в дневнике все отчетливее звучат мотивы отторжения от системы, в которой автору довелось трудиться. Все острее становится «ощущение безнадежности что-либо поправить в условиях закостеневшей системы и ничтожества высшей власти», «по самой своей природе враждебных внешнему миру, наиболее динамичной и прогрессивной его части». И убеждение: «Если “генеральная линия” будет продолжена в принципе, то катастрофы не миновать» (с. 193, 387,

522). Истории, однако, угодно было подарить Черняеву — и нам вместе с ним — еще шесть лет политической жизни в другом историческом времени, в другой эпохе.

Перестройка: упущенный шанс?

«Неизбежность перестройки» — так называлась статья Андрея Сахарова, опубликованная в 1988-м в знаковом сборнике, где «перестроечная» интеллигенция отозвалась на начавшиеся в СССР перемены. Предупреждая о невероятных трудностях на избранном пути, Сахаров выводил неизбежность перестройки из ее «абсолютной исторической необходимости» для советского общества, для всемирной цивилизации — во имя сохранения жизни на планете¹.

С дистанции в двадцать с лишним лет отчетливее видно не только, в чем преуспела перестройка и чего добиться она не сумела, но и что из произошедшего в те годы было действительно неизбежно, а что, порожденное сочетанием совпавших обстоятельств, оказалось исторически преходящим и обратимым. Дневниковые записи Черняева, роль которого во властных структурах партии и государства в те звездные годы поменялась кардинально, дают богатейший материал для размышлений не только о прошлом, но и настоящем и будущем нашей страны.

То, что система, созданная при Сталине и сохранившаяся в основных чертах после его смерти, исторически изжила себя и идет к своему концу, было очевидно любому информированному наблюдателю. Эта мысль лейтмотивом проходит по всему тексту дневника за 1972—1984 годы. Но какой ей отмерен срок, что именно в ней обречено на исчезновение и в каких формах это произойдет, предсказать не мог никто. Можно было лишь утверждать, что запас устойчивости господствовавшего режима еще не был исчерпан, что, огражденный ракетно-ядерным панцирем, он обладал надежной защитой от

внешнего давления. Вполне обозначившийся проигрыш экономического соревнования с Западом не грозил коллапсом воспроизводственного процесса или разрушительным демонстрационным эффектом внутри страны. Контроль государства над атомизированным и подвергавшимся все большей деморализации населением был непрерываем. Всколыхнувшееся было в 1960-х годах антисталинское диссидентское движение усилиями воссозданных при Андропове спецслужб было локализовано. Отторжение продвинутой части интеллигенции от государствен-

ственного масштаба. Поэтому изменение инерционного, закрепленного многолетней традицией порядка вещей, а вместе с ним — судеб громадной страны, трехсот миллионов людей, могло происходить при средненормальном ходе событий, то есть при отсутствии кризисных обострений, катастроф и т. п., только благодаря изменению соотношения сил, намерений и воззрений в узком кругу высшего политического руководства. Ибо никаких других организованных, неподконтрольных ему центров силы (военных, полицейских, экономических

“Отторжение продвинутой части интеллигенции от государственной идеологии не достигало критической массы и порождало скорее цинизм, нежели сопротивление”.

ной идеологии не достигало критической массы и порождало скорее цинизм, нежели сопротивление. С большинством населения существовал неформальный социальный контракт: лояльность в обмен на скудные социальные гарантии.

То обстоятельство, что достижение амбициозных целей, которые система устами своих лидеров поставила перед собой, все больше отдалается и вряд ли вообще возможно, могло быть осознано лишь относительно малой частью правящего класса — элитной интеллигенцией, призванной во власть интеллектуально обслуживать высшие партийные инстанции. Это были разные люди, каждый со своей собственной жизненной ориентацией. Колоритнейшие образы некоторых из них рисует Черняев. В массе же своей люди номенклатуры, лишенные серьезной информации, индоктринированные и расставленные по этажам жестко стратифицированной бюрократической системы, были способны в лучшем случае на проявление самостоятельности и инициативы локального, но не обще-

и т. д.) в СССР не было. Более того, общая воля этой группы (или ее равнодействующая) могла проявиться, как правило, лишь при смене первого лица. Во всех остальных случаях при сложившейся строго иерархической субординации голос генерального секретаря — это выразительно показал Черняев — становился решающим. Смена же генерального секретаря после смещения Хрущёва происходила только после смерти его предшественника.

Таким образом, начало перестройки и последовавших за тем всемирно-исторических событий было привязано хронологически к физическому угасанию Черненко — «серенького и убогого по своему интеллектуальному содержанию, малообразованного и свободного от всякого культурного фундамента мелкого партийного чиновника», волею обстоятельств на короткое время возглавившего могучее государство (с. 551). К этому моменту в политбюро сколько-нибудь конкурентоспособного соперника Горбачёву не нашлось. Собственно, и при таких обстоятельствах его приход на

главный партийный пост не был заведомо предопределен. В претендентах значились Гришин, вскоре последовавшее смещение которого стало «днем ликования всей Москвы» (с. 660), и Романов — «бездарь и сволочь» (с. 638). И тот, и другой, и еще кто-нибудь третий вполне мог бы занять «трон», если бы не предельная дискредитация власти при немогущем предшественнике и хорошо спланированная интрига приближенных к высшим сферам трех директоров академических институтов — Александра Яковлева, Евгения Примакова и Анатолия Громыко,

ция Горбачёва. На него, конечно, наложила отпечаток комсомольско-партийная карьера, пройденная им по всем ступеням лестницы с самого низа. Но по образованию, интеллектуальному и культурному уровню он изначально заметно возвышался над своим окружением.

Среди тех претензий, которые сторонники более решительных преобразований, в том числе и автор дневников, предъявляли Горбачёву, чаще всего фигурировали две — приверженность «социалистическому выбору» и его нежелание порвать с КПСС.

“По главным политическим и кадровым вопросам почти до самого конца Горбачёву удавалось проводить свою линию через официальные партийные инстанции”.

великолепно разыгравших свою партию в решающий момент².

Итак, стечение вовсе не предопределенных обстоятельств на узкой, но высоко вознесенной площадке открыло цикл событий, как тогда было принято говорить, судьбоносных. Но их развитие зависело в решающей степени, по крайней мере на начальной стадии, от двух факторов: заданного российской исторической традицией персоналистского характера власти и личных качеств новоназначенного лидера, его намерений и поступков. В полной мере они не были ведомы никому, в том числе, видимо, и самому Горбачёву. Хотя еще в бытность его одним из секретарей ЦК пронизательный Черняев мог заметить, что это человек «живой, мгновенно реагирует... компетентный, уверенный, четкий, умеет ухватить самую суть вопроса, отличить болтовню от дела, найти выход» (с. 560). Все эти замечательные качества в реальности проявятся, к сожалению, не всегда и не в полной мере. Но теперь очень многое зависело от того, как пойдет политическая и идейная эволю-

Отсюда — замедленность, опоздание с переходом к радикальным реформам. Эти претензии имели под собой основания. Но попробуем разобраться в данном вопросе, опираясь на записи Черняева. Свобода воли, которой располагал Горбачёв, была значительно меньше, чем представлялось его критикам. По-видимому, в первые два-три года перестройки можно было продвинуться по пути реформ несколько дальше, чем это было сделано. Но замедленность преобразований была неизбежной не в меньшей мере, чем сама перестройка. При всех достоинствах Горбачёв был человеком своего времени и своей социальной среды. И отбросить вериги «социалистического выбора» для него было непросто. Однако, как свидетельствует Черняев, уже к 1988 году декларируемое пристрастие Горбачёва к этому выбору зашаталось, и чуть позже, признав, что «основа всего — частная собственность», он «успокоился насчет приватизации», а раз так, то и «главная ценность — что такое социализм — стала непонятной в своей основе» (с. 867, 946, 741). Не мог он, однако, не считаться с

тем, что эта мифология владела сознанием большинства народа.

Сложнее обстоит дело с партией.

Парадокс заключался в том, что единственным инструментом, находившимся в распоряжении Горбачёва, для проведения преобразований, масштаб и характер которых он и сам до конца не представлял, была партия. Никаких других рычагов в советской системе власти у него не было (а те, что он начал создавать с 1988-го, тоже оказались негодными). Партия же — это пирамида структур, управляемых сверху, откуда, собственно, и стали исходить импульсы перестройки. «А насаждать ее хочет и может только М.С., ну, может быть, еще два-три члена политбюро и часть секретарей ЦК... все понимают, что перестройка — это Горбачёв. Не будет его — всё завалится при нынешнем ПБ» (с. 756). Вслед за первой волной энтузиазма, охватившего в том числе и большинство партийных кадров, которым импонировали живая речь, новый стиль, неподдельная заинтересованность в деле, партаппарат довольно быстро понял, «что дни его сочтены, и в лучшем случае перестал работать, практически выключив старый механизм административной системы (в худшем же — устремился доказать, что все это — горбачёвская авантюра)» (с. 760). Иными словами, на начальном этапе перестройки реформаторы столкнулись не столько с открытым сопротивлением, сколько с вязким гашением перестроечных импульсов.

Примерно с 1988-го разногласия вышли наружу, и острые столкновения стали сотрясать политбюро. Самым поразительным, однако, было то, что по главным политическим и кадровым вопросам, как показывает Черняев, почти до самого конца Горбачёву удавалось проводить свою линию через официальные партийные инстанции: на XXVIII съезде и даже апрельском пленуме ЦК 1991 года, поднимавшем против него «бунт на коленях». Но победы эти сыграли дурную роль:

они укрепляли Горбачёва в убеждении, что он продолжает контролировать партию, а потому его линия на всеобщую консолидацию («Давай, Анатолий, их всех объединять», с. 722) будто бы верна. Наблюдая «скопище обезумевших провинциалов и столичных демагогов», неспособных «воспринять что-то, кроме ВПШовского “марксизма-ленинизма”», он цепко держался за пост генсека: «Нельзя эту паршивую собаку отпускать с поводка» (с. 861, 862).

Здесь, как настаивает Черняев, была допущена капитальная ошибка: такая партия была неререформируема, надо было идти на ее раскол, ибо «первое правило политика — уметь оставлять позади то, что отработано» (с. 879). Соглашаясь с этим, я бы считал необходимым оговорить два момента. Во-первых, проблема не сводилась к реакциям оголтелых номенклатурщиков. Я сталкивался с этими людьми на российских съездах и видел, что примитивизм их политического мышления был удручающим. Но выражали они не только свои эгоистические интересы. И по-своему идейный Лигачёв, и ничтожный Полозков выступали «от имени тех, кто привык жить на иждивении государства, даже не работая вовсе. Хотя к ним примыкают все пенсионеры, убогие, инвалиды, неудачники, учащиеся и проч.». И выражали эти противники Горбачёва взгляды, которые могли «понравиться десяткам миллионов “простых людей”» (с. 700, 926). Раскол произошел в обществе. Политики-реалисты не могли сбросить со счетов интересы, привычки, взгляды, предрассудки миллионов. Но наивно было пытаться примирить противоположные интересы в рамках одной партии. Если бы своевременно (то есть не позднее 1989-го) горбачёвски ориентированная часть партии была отделена от лигачёвской, она, возможно, вместе с другими институтами смогла бы сыграть хотя и не универсальную, но все же позитивную политическую роль.

Однако на раскол партии не решился не только Горбачёв, но и Яковлев, отказавшийся возглавить «Демократическую платформу в КПСС», на XXVIII съезде партии. Во-вторых, идя на раскол, следовало отчетливо сознавать размеры риска. Сознательное обострение ситуации, которого Горбачёв упорно старался избежать, означало приближение открытого столкновения сил с непредвиденными поворотами и неопределенным исходом.

Горбачёв попытался нащупать хотя и паллиативный, но верный путь, начав переносить центр тяжести власти из партийных в государственные органы. Однако на этом пути он также допустил ряд серьезных ошибок. Важнейшим политическим событием перестройки стали выборы, а затем созыв I Съезда народных депутатов (СНД) СССР. Первые за годы советской власти относительно свободные и местами альтернативные выборы серьезно продвинули политизацию общества. Критические выступления демократических депутатов, которым внимала вся страна, расшатывали представления о неизменности режима. Но парламентом ни СНД, ни Верховный Совет (ВС) не стали. Сама двухэтажная конструкция этого учреждения — шедевр аппаратной фантазии — была абсурдной. А поскольку выборы на большей части страны управлялись все тем же аппаратом, скамьи возбудившего было надежды страны собрания заполнили те люди, что доминировали и на партийных съездах и пленумах. С тем лишь, пожалуй, отличием, что градус демагогии здесь был выше и нарастал от съезда к съезду. «Депутаты, — записывает Черняев, — вопят перед телекамерами “о защите интересов народа” и требуют, чтобы “царь” все этому народу “дал”» (с. 886). Единственное живое и перспективное (хотя и довольно неоднозначное, а потому непрочное) образование на съезде — Межрегиональная депутатская груп-

па была поставлена фактически в условия осадного положения: об этом позаботились деятели, расставленные Горбачёвым на ключевые посты в ВС. «Партия на местах стремительно теряла властные и управленческие функции, — констатирует Черняев. — Советы оказались неспособными их взять на себя. Остается удивляться, как государство смогло просуществовать еще два года... Советская власть вместе с КПСС теряла легитимность» (с. 831).

Протопарламент, в котором нарастали антигорбачёвские и даже антиперестроечные настроения, не прижился как действительно властный орган. Этого следовало ожидать: российская история не знала влиятельных представительных учреждений. В начале 1990 года Горбачёв стал президентом СССР: его не могли теперь отстранить от власти ни решением партийных органов, ни простым большинством на СНД. Но вслед за тем им были приняты труднообъяснимые кадровые решения: в реорганизованном правительстве ключевые посты заняли или сохранили «государственники», противники демократической перестройки. А на пост вице-президента вразрез с рекомендациями трех влиятельных лидеров общественного мнения (Юрия Рыжова, Дмитрия Волкогонова и Марка Захарова), предложивших Григория Явлинского, Горбачёв не без труда продавил через съезд опереточного Янаева. Команду заговорщиков-гэкачепистов президент расставил на ключевые посты в исполнительной власти собственными руками, а роспуском Президентского совета и рядом опрометчивых поступков отделил от себя наиболее близких ему политиков, выдвинутых перестройкой. К этому же времени относится полоса отчуждения между ним и Черняевым, который с горечью пишет об этом в дневнике (с. 892, 903–906).

Один из главных уроков перестройки Черняеву видится так: «Беда М.С., что он не

создал аппарат взамен политбюровскому... Он все думал приспособить партаппарат для новой своей власти. Но есть законы революции!» (с. 1016). В том, конечно, не только беда, но и вина реформатора, в известной мере по собственной воле оказавшегося в разреженном политическом и кадровом пространстве. Но не только по собственной воле. Революция проходила в стране, где десятки лет целенаправленно выгаптывались общественная инициатива, ростки самоорганизации. Ее не предворяла, как во Франции XVIII века, работа просветителей,

заявить о себе. А пришли они из небытия в политику лишь благодаря тому, что был оставлен механизм политических репрессий, отменена цензура, сорвана завеса изоляции и в ранг официальной доктрины возведено «новое мышление для нашей страны и для всего мира».

Политика в чем-то сродни шахматной игре, в которой право на существование имеют два стиля: позиционный, осторожный и комбинационный, смелый, рискованный. В первые годы перестройки в распоряжении Горбачёва были только уна-

“Начавшийся ремонт здания быстро обнажил все язвы советского строя и обострил действительно трудные, в принципе нерешаемые в короткий срок проблемы”.

загодя объяснивших обществу, что с ним происходит и что ему требуется, — и все равно страна сорвалась в кровавые бесчинства террора. Само советское общество оказалось неспособным выдвинуть критическую массу здравых — назовем их так — *эволюционистов*, подпирающих державного реформатора и способных ориентироваться в стихии *революционных* событий.

В 1989—1991 годах перестроечный процесс прошел роковую, на мой взгляд, развилку. И в том, что он был развернут на путь, чреватый трагическими последствиями, которые с годами вырисовываются все отчетливее, свою долю вины несут обе стороны вредоносного конфликта: реформаторы во главе с Горбачёвым и лидеры демократического движения. Не берусь определить меру ответственности каждой из этих сторон. Важнее понять, как был упущен вроде бы возникший шанс на демократические преобразования нашей страны, как и почему произошел разрыв между неожиданно явившимся реформатором и общественными силами, которые смогли сорганизоваться и

следованный от прежнего режима партийно-государственный аппарат, послушный, но приспособленный лишь к защите и консервации на диво сколоченного тоталитарного режима, и — проснувшиеся ожидания народа. Осторожные подвиги с оглядкой на соратников в политбюро дали для продвижения вперед если и не максимум, то очень многое из возможного при заданных обстоятельствах. Но начавшийся ремонт здания, который нигде и никогда нельзя осуществить безболезненно, быстро обнажил все язвы советского строя и обострил действительно трудные, в принципе нерешаемые в короткий срок проблемы. На политическую арену вышли новые самостоятельные игроки: демократическая оппозиция, консервативная бюрократия, национальные движения. Центровое положение в политике, как и на шахматной доске, дает некоторые преимущества. Но застолбить его, стремясь сохранить положение всех фигур в неизменном и контролируемом виде, невозможно.

Горбачёв не решился пойти на раскол партии, когда откладывать его было уже

нельзя. Вместо того он затрачивал колоссальные усилия на кадровые перестановки. Они ничего не давали, кроме перемещения в первый ряд бюрократов второго и третьего ранга, со свежими силами вставлявших палки в колеса агрегата, неспособного к перемещению в заданном направлении. И сверх того, занимался «ностальгической партийной ерундой», сочиняя никому не нужную «почти социал-демократическую программу» (с. 962). Поскольку это касалось партии, Горбачёва сдерживали тактические соображения, хотя он постепенно подходил

было делом безнадежным. Оптимальным вариантом мог стать лишь цивилизованный развод.

Уже в 1988–1989 годах всполохи национальных конфликтов — сумгаитский погром, армяно-азербайджанская война, кровавые события в Тбилиси, резня в Фергане и др. — возвестили о нарастании неконтролируемых процессов распада. Горбачёвское руководство недооценило эти сигналы. Недооценило оно и движение, которое стало разворачиваться к западу от советской границы 1939 года. На фоне ликвидации коммунистиче-

“В условиях крушения тоталитарного режима плавно перейти от унитарного государственного устройства к федеративному было делом безнадежным”.

к решительному шагу — «валить партию» (с. 961, 968). Но много тяжелее над его сознанием и поведением тяготела другая «священная корова». Как Черчиллю, не желавшему председательствовать при распаде Британской империи, Горбачёву была невыносима перспектива крушения СССР. «Союз можно было сохранить», — утверждает он поныне. Был ли Советский Союз последней империей или неким исключительным образованием? В каких территориальных границах можно было бы сохранить наследие Российской империи, если бы после 1917 года страна имела другую историю — без безумной централизации и унификации, сталинских депортаций и зачисток, искоренения «буржуазных националистов» в республиках, предписанных клятв в верности и фальшивых объяснений в любви «старшему брату» и т. д., — отдельный вопрос. Но в условиях демонтажа, а тем более — крушения тоталитарного режима, хотя бы и несколько смягченного после 1953-го, плавно перейти от унитарного государственного устройства к федеративному или даже конфедеративному

ских режимов в Восточной Европе — «тотального демонтажа социализма как явления мирового» — наивно было рассчитывать удерживать в составе СССР страны Прибалтики, в памяти которых были запечатлены 20 лет независимости и трагедия ее утраты в результате пакта Риббентропа — Молотова. Между тем, вместо того чтобы выстраивать эффективную защиту своих граждан от погромщиков, удовлетворить законные требования армянского народа Карабаха, который был насильственно включен Сталиным и Наримановым в состав Азербайджана, усилия советского руководства сосредоточились на Прибалтике, где шаги к отделению предпринимались в мирной, цивилизованной форме. «Нет у него политики в отношении Литвы, а есть одна державная идеология», — записывает Черняев. Эмоции перехлестывают через край: «Я додавлю всех», — заявляет в порыве раздражения Горбачёв одному из своих помощников (с. 853, 855).

Для инициатора перестройки наступал момент истины. Речи членов политбюро выдержаны с позиций «единой и недели-

мой», «происходит отрыв от реальности, который грозит тем, что останется один аргумент — танки». А что же Горбачёв?

«Полупризнания, полуосуждения, полуразрыв с прошлым. Полурешения.

Многословие, — отмечает Черняев. — И главная тут причина — нежелание расставаться с империей». Руководителей республик вызывают в Москву, прорабатывают в ВС, уговаривают, увещевают, грозят. И под конец в ход действительно пускают танки.

События приобретают поистине макабрический вид. По призыву анонимных частных формирований, поименовавших себя комитетами национального спасения, — местных квислингов и гусаков вооруженные силы государства штурмуют государственные же учреждения, подвластные республиканским властям. Гибнут люди. Но шаблонно задуманные, бездарно и трусливо осуществленные акции проваливаются. Перестроечная интеллигенция протестует. В Москве — многолюдные демонстрации протеста под лозунгом «Свободу Литве!». Горбачёва убеждают: надо ехать в Вильнюс, объяснить. Исправить произошедшее нельзя, но жест — тоже поступок. Кажется, он собрался в дорогу. Но визит отменяется. Вместо того — «жалкая, косноязычная, с бессмысленными отступлениями речь» в Верховном Совете. Так «фарисейское влияние» дискредитирует и подрывает перестройку (с. 801, 845, 902).

То, что Прибалтика — отрезанный ломоть, в конечном счете приходится признать.

Но вслед за тем на первый план выдвигается куда более мощный провоцирующий и раскалывающий «перестройщиков» фактор — Украина. С принадлежностью ей Крыма и Севастополя не может примириться даже Черняев: нельзя их отдавать, «это позор для национального самосознания России» (с. 996, 1025). И наконец, в оппозицию к союзному руководству становится Россия. А это уже открывает прямой путь к катастро-

фе. Не только к крушению СССР — это было бы полбеда, — но и к трансформации начатого перестройкой процесса демократического преобразования страны в нечто противоположное.

Колебания, нерешительность, неверные шаги Горбачёва выталкивают в оппозицию демократическую интеллигенцию, «перестройщиков» из Межрегиональной группы, организаторов многотысячных митингов, проходивших в Москве и Ленинграде в 1989-м, 1990-м, в январе и марте 1991 года. Натиск, непочтительное поведение демократов толкают Горбачёва к партаппаратчикам. Ненадолго и ситуативно, но «вывод у всех на ПБ был общий: курс на размежевание в самой партии (совсем не такое, какое требуется. — В.Ш.), на исключение Афанасьевых и т. п., на отторжение и изоляцию межрегионалов, на то, чтобы с помощью Верховного Совета «призвать народных депутатов к порядку». Конфликт с демократами разгорается. «Подло, что они катят на Горбачёва, глупо, что не видят шанса делать настоящую демократическую власть именно при Горбачёве», — сокрушается Черняев (с. 844, 845). А где он, этот шанс, если автор сам вскоре напишет в личном (хорошо, что неотправленном) послании инициатору перестройки: «Разрушается главное, что было достигнуто в ходе политики нового мышления, — доверие. Вам уже теперь не поверят — как бы Вы отныне ни поступали. Торжествуют те, кто предупреждали: все это новое мышление — лишь личина, которая в подходящий момент (или когда туго придется) будет сброшена» (с. 904). Пусть эти (да и другие разбросанные в дневнике) вырвавшиеся от отчаяния слова отразили настроение минуты и будут перекрыты признанием исторической роли Горбачёва. Более поздней взвешенной итоговой оценкой: «Горбачёв метался в поисках альтернатив, компромиссов, “оптимального” сочетания прежних и новых методов руко-

водства и управления. Были здесь промахи, ошибки, просчеты, запоздания, *faux pas*, просто нелепости. Но не в них причина... разложения общества и государства» (с. 895).

Но как же следовало вести себя людям, которые стояли от Горбачёва дальше, чем автор дневника, и которые стремились ускорить демократические преобразования, сделать их необратимыми? Я могу согласиться, что им (нам) не хватило терпения, проныцательности и мудрости, а некоторым — и элементарной честности. Но в оценках российских демократов, которые по разным поводам автор заносит в дневник (и которые я не хочу здесь воспроизводить), — заостренно враждебных, пренебрежительных, бьющих наотмашь, — ему, как мне кажется, изменяет объективный и взвешенный подход. Конечно, дневник — не аналитическое исследование, и его автор имеет право на субъективные суждения. Меня, находившегося тогда по другую сторону разделительной политической черты, тоже нередко коробил оголтелый антигорбачевизм Ельцина и многих демократов. Но я и сейчас не знаю, как можно было выстроить мост между инициатором перестройки и российскими демократами в сложной обстановке 1989—1991 годов. А ведь только такой блок, возможно, давал шанс на то, что демократический процесс не собьется с пути.

Не встречая понимания у Горбачёва, российские демократы сделали ставку на своего харизматического избранника. Они нужны были Ельцину как идеологи, ораторы и эксперты, как эшелон поддержки на СНД России и в стране. А они без Ельцина не смогли бы стать внушительной силой даже в условиях общественного подъема. Черняев обильно воспроизводит злые горбачёвские выпады против Ельцина и с раздражением отмечает, как «рафинированная интеллигентная элита... рукоплещет... (опускаю эпитеты. — В.Ш.) “лидеру” Ельцину!» (с. 929).

Но он вынужден признать, что Ельцин нередко делает то, что должен был делать Горбачёв, что подчас «устаами Ельцина глаголет истина», что выдвигаемая им программа «составлена хитро, основательно и впечатляет» (с. 863—864, 904, 913, 933).

Роль Ельцина в демократической революции была действительно неоднозначна. Она была выдающейся в сокрушении августовского путча. Но за победой над реакционерами-путчистами последовала бесславная «победа» над президентом СССР. Она досталась тем легче, что Ельцин, а не Горбачёв после путча стал лидером республиканских элит, рванувшихся к «суверенизации». Лояльными же к низвергнутому президенту СССР остались как раз демократы из Межрегиональной группы (с. 1037). Не партократы, а демократы, с которыми в те годы шли яростные споры, входят в окружение Горбачёва и сегодня. Поведение победителя по отношению к утратившему власть сопернику не было ни разумным с государственной точки зрения, ни пристойным — с человеческой. Однако еще важнее, что, сплотившись вокруг Ельцина, демократы, — сознавая это или нет, — заблокировались с антисоюзной, антигорбачёвской, антидемократической российской бюрократией, которая вскоре заняла ключевые позиции в государстве, оттеснила своих демократических союзников и стала вместе с откровенными прохиндеями, авантюристами и удачливыми бизнесменами главной социальной опорой режима «царя Бориса». Но знамя будто бы победившей демократии еще несколько лет осеняло победителей.

Объективно перестройка призвана была решить три главные задачи: заменить государственный социализм рыночной системой, тоталитарный строй унитарного государства — демократическим и федеративным (или конфедеративным) и покончить с холодной войной, ввести нашу страну в

сообщество демократических государств. На каждом из этих направлений, то и дело сбиваясь с пути, Россия все же продвигалась вперед в перестроечные и первые постперестроечные годы. Дважды — в августе 1991-го и летом 1996 года — в силу неустойчивости и незавершенности демократических преобразований и ошибок реформаторов, в условиях нараставших социальных напряжений, сопутствующих каждому глубокому перевороту, страна оказывалась перед реальной угрозой реванша коммунистической бюрократии. И все-таки отходила от края пропасти. Реставрация существенных элементов прежнего порядка пришла иным путем. Поначалу не очень заметно, в виде постепенного перерождения социальной и политической ткани. Ее главным носителем выступили новые когорты поднимавшейся бюрократии и ее идеологическая обслуга. Присутствие в рядах реставраторов немалочисленных перебежчиков из рядов перестроечных и постперестроечных демократов придавало переменам видимую преемственность.

Но в начале XXI века по ряду ключевых параметров Россия была отброшена на раннеперестроечные или даже доперестроечные рубежи. Регенерировано в иной форме одно из проклятий «русской системы»: связка власть—собственность. Частная собственность не защищена, бизнес дисциплинирован, а государство вернуло себе роль главного распорядителя экономической жизни. С конкурентной политической средой покончено, ее заместили властная вертикаль и «управляемая (суверенная) демократия». Оболочка конституционного федерализма облекает структуры по сути унитарного госу-

дарства. Реализация конституционных прав граждан ограничена волей администрации и дубинками ОМОНа. Выборы превращены в фарс. О независимости суда можно только мечтать. Возрождены сила и влияние репрессивных органов. Происходит инфильтрация выходцев из спецслужб в различные сферы государственной и общественной жизни. Взятые на вооружение сущностные компоненты позднесоветской идеологии — ее «государственническая» и «патриотическая» составляющие. Из исторического образования изгоняется «очернительство нашего славного прошлого», прославляются войны, которые вела Россия. В открытую идет реабилитация Сталина и сталинизма. В интересах укрепления режима так называемой «суверенной демократии» усиливается — под видом защиты национальных интересов и «исключительных прав» России на постсоветском пространстве — конфронтационный подход в международной политике. В «сухом остатке» — замена недееспособной, деградировавшей коммунистической элиты свежим поколением, владеющим приемами современной политтехнологии, уверенным в своем исключительном праве выстраивать вертикаль власти, избавляться от ценностного заряда перестройки и реализовать интересы государства и общества, как оно их понимает.

Цикл, начатый перестройкой, завершился. Но это, конечно, не «конец истории». Важно, чтобы опыт нашего недавнего прошлого не был позабыт, а его уроки, горькие, но поучительные, были осмыслены. Опубликованные теперь дневники Анатолия Черняева дают богатую пищу для таких размышлений. ■

ПРИМЕЧАНИЯ ¹ Сахаров А. Неизбежность перестройки // Иного не дано. М.: Прогресс, 1988. С. 122—134.

² См.: Громько Анат. Андрей Громько: В лаби-

ринтах Кремля. М., 1997. С. 82—100; Яковлев А. Омут памяти. М., 2000. С. 442—444; Горбачев М. Жизнь и реформы. М., 1995. Кн. 1. С. 264; Коммунист. 1985. № 5. С. 6—7.